В. Г. Белинский[63]

Взгляд на русскую литературу 1847 года

(Отрывок из статьи)

Статья вторая и последняя

Значение романа и повести в настоящее время, – Замечательные романы и повести прошлого года и характеристика современных русских беллетристов: Искандер, Гончаров…

<…> Гончаров, автор «Обыкновенной истории», – лицо совершенно новое в нашей литературе, но уже занявшее в ней одно из самых видных мест. <…>

<…> Он поэт, художник – и больше ничего. У него нет ни любви, ни вражды к создаваемым им лицам, они его не веселят, не сердят, он не дает никаких нравственных уроков ни им, ни читателю, он как будто думает: кто в беде, тот и в ответе, а мое дело сторона. Из всех нынешних писателей он один, только он один приближается к идеалу чистого искусства, тогда как все другие отошли от него на неизмеримое пространство – и тем самым успевают. Все нынешние писатели имеют еще нечто, кроме таланта, и это-то нечто важнее самого таланта и составляет его силу; у г. Гончарова нет ничего, кроме таланта; он больше, чем кто-нибудь теперь, поэт-художник. Талант его не первостепенный, но сильный, замечательный. К особенностям его таланта принадлежит необыкновенное мастерство рисовать женские характеры. Он никогда не повторяет себя, ни одна его женщина не напоминает собою другой, и все, как портреты, превосходны. Что общего между грубой и злой, но по-своему способной к нежным чувствам Аграфеной и между светской женщиной, мечтательной и с расстроенными нервами? И каждая из них в своем роде мастерское, художественное произведение. Мать молодого Адуева и мать Наденьки – обе старухи, обе очень добры, обе очень любят своих детей, и обе равно вредны своим детям, наконец, обе глупы и пошлы. А между тем это два лица совершенно различные: одна барыня провинциальная старого века, ничего не читает и ничего не понимает, кроме мелочей хозяйства: словом, добрая внучка злой госпожи Простаковой; другая – барыня столичная, которая читает французские книжки, ничего не понимает, кроме мелочей хозяйства: словом, добрая правнучка злой госпожи Простаковой. В изображении таких плоских и пошлых лиц, лишенных всякой самостоятельности и оригинальности, иногда всего лучше выказывается талант, потому что всего труднее обозначить их чем-нибудь особенным. Что общего между этою живою, ветреною, своенравною и немножко лукавою Наденькою и тою спокойною по наружности, но пожираемою внутренним огнем Лизою? Тетка героя романа – лицо вводное, мимоходом очерченное, но какое прекрасное женское лицо! Как хороша она в сцене, оканчивающей первую часть романа! Мы не будем распространяться насчет мастерства, с каким обрисованы мужские характеры: о женских мы не могли не заметить, потому что до сих пор они редко удавались у нас даже первостепенным талантам; у наших писателей женщина – или притворно сентиментальное существо, или семинарист в юбке, с книжными фразами. Женщины г. Гончарова – живые, верные действительности создания. Это новость в нашей литературе.

Обратимся к двум главным мужским лицам романа – молодому Адуеву и его дяде, Петру Иванычу: о последнем нельзя не сказать хотя несколько слов, говоря о первом, потому что он противоположностию своею еще более оттеняет героя романа. Говорят, тип молодого Адуева – устарелый, говорят, что такие характеры уже не существуют на Руси. Нет, не перевелись и не переведутся никогда такие характеры, потому что их производят не всегда обстоятельства жизни, но иногда сама природа. Родоначальник их на Руси – Владимир Ленский, по прямой линии происходящий от гётевского Вертера. Пушкин

первый заметил существование в нашем обществе таких натур и указал на них. С течением времени они будут изменяться, но сущность их всегда будет та же самая… Молодой Адуев, приехав в Петербург, мечтает, с какою радостию обнимет своего обожаемого дядю и в каком восторге будет от него дядя. Он останавливается в трактире и боится, что дядя осердится на него, зачем он не приехал прямо к нему. Холодный прием дяди рассеивает его провинциальные мечты. До сих пор молодой Адуев является больше провинциалом, нежели романтиком. Он даже неприятно был поражен тем, что дядя назвал дураком Заезжалова и дурою деревенскую тетку, с ее желтым цветком, приславших к нему преглупейшие письма. Провинциалы часто бывают очень смешны в своих отношениях к своим родным и знакомым. В маленьких городках жизнь однообразна, узка, мелка, все друг друга знают и если не враждуют между собою, то непременно пребывают в нежнейшей дружбе: средних отношений почти нет. И вот из городка отправляется искать счастия в столицу молодой человек; все им интересуются, провожают его, желают ему всякого счастия, просят не забывать. Он уже сделался в столице пожилым человеком, родной городок его представляется ему каким-то смутным видением; под влиянием новых впечатлений, новых знакомств, отношений, интересов он давно перезабыл и имена и лица людей, которых так коротко знал в детстве, и помнит только о самых близких к нему, да и то они представляются ему в том виде, как он их оставил, а ведь они с тех пор переменились же. По их письмам он видит, что у него с ними нет ничего общего; отвечая им, он подделывается под их тон, под их понятия; удивительно ли, что он пишет к ним реже и реже, наконец, и совсем перестает писать. Мысль о приезде в столицу родственника или знакомого пугает его столько же, как жителей пограничного города во время войны пугает мысль, что неприятель пойдет их дорогою. В столице не понимают заочной любви; здесь думают, что любовь, дружба, приязнь, знакомство поддерживаются личными отношениями, а разлукой и отсутствием охлаждаются и уничтожаются. В провинции думают совсем наоборот; вследствие однообразия жизни там удивительно развита наклонность к любви и дружбе. Там рады всякому; мешать друг другу, не давать покою – там считается священнейшею обязанностию. Если кому-нибудь перестанут надоедать родственники и знакомые, он сочтет себя самым несчастным, наиболее обиженным человеком в мире. Когда к провинциалу, живущему в маленьком городке, вдруг наезжает орда родственников и обращает его маленький домик в бочонок, набитый сельдями, он, по наружности, не знает, как и радоваться, с веселым лицом бегает, суетится, угощает всю эту толпу, а внутренно от всей души проклинает ее. А между тем попробуй-ка эти люди в другой раз остановиться не у него: он никогда им не простит этого. Такова уж патриархальная логика провинции! И с такой-то логикой приезжает иногда провинциал в столицу по делам со всем семейством своим. В столице у него есть родственник, который лет уж двадцать как выехал из своего местечка и давным-давно перезабыл всех своих родных и знакомых. Наш провинциал летит к нему с распростертыми объятиями, с милыми детьми, которых надо разместить по учебным заведениям, и обожаемою супругою, которая приехала полюбоваться на столичные магазины мод. Раздаются ахи, охи, крик, писк, визг. «А мы прямо к вам, мы не смели остановиться в трактире!» Столичный родственник бледнеет, не знает, что делать, что сказать; он похож на жителя города, взятого неприятелем, к которому в дом ворвалась толпа предавшихся грабежу неприятельских солдат. А между тем ему уже подробно изъяснено, как его любят, как его помнят, как о нем беспрестанно говорят и как на него надеются, как уверены, что он непременно поможет определить Костеньку, Петеньку, Феденьку, Митеньку по корпусам, а Машеньку, Сашеньку, Любочку и Танечку в институт. Столичный родственник видит, что от одной минуты зависит его гибель или спасение, собирается с духом и с холодною вежливостию объясняет неприятельскому отряду, что он никак не может принять их к себе, что его квартира тесновата и для его собственного

семейства, что в корпуса и институты дети принимаются по экзамену и по узаконенному порядку, что тут не поможет никакая протекция, если нет вакантных мест или если дети старше или моложе приемных лет, или не выдержат экзамена, а тем более протекция такого незначительного человека, как он, который сверх того служит совсем по другому ведомству и не знаком ни с кем из начальников учебных заведений. Разочарованные провинциалы удаляются в бешенстве, вопиют против столичного эгоизма и развращения и говорят о своем родственнике, как о чудовище. А между тем это, может быть, очень порядочный человек; вся вина его в том, что он не захотел обратить своей квартиры в безобразный табор, лишить себя всякого приюта в собственном доме, всякой возможности заниматься делами службы в тиши своего кабинета, принимать у себя по вечерам людей или близких ему, или полезных и необходимых ему по службе и, таким образом, стеснить себя, подвергнуть себя тяжким лишениям для людей, совершенно чуждых ему, с которыми бы он не захотел вести и обыкновенного знакомства. А между тем и эти провинциалы по-своему люди добрые и даже неглупые, вся вина их в том, что, отправляясь в столицу, они уверены найти в ней, за исключением огромности, великолепия и модных магазинов, свой городок, с теми же нравами, обычаями и понятиями. Они по-своему любят роскошь и великолепие, хотя и без вкусу, при средствах готовы изукрасить всячески свою залу и гостиную; о кабинете не имеют и понятия и не знают, зачем он; спальня и детская у них всегда самые грязные комнаты; им ничего не стоит потесниться и пожаться, – понятие о комфорте не существует для них, они привыкли к тесноте, любят ее по пословице: в тесноте люди живут, да и жилым крепче пахнет. Они всякому рады и, по словам Петра Иваныча, хоть ночью ужин состряпают. По замечанию его племянника, эта черта составляет добродетель русских, с чем Петр Иваныч решительно не согласен. «Какая тут добродетель, – говорит он. – От скуки там всякому мерзавцу рады; милости просим, кушай сколько хочешь, только займи как-нибудь нашу праздность, помоги убить время да дай взглянуть на тебя: все-таки что-нибудь новое; а кушанья не пожалеем: это нам здесь ровно ничего не стоит… Препротивная добродетель». Петр Иваныч выразился немножко жестко, но не совсем несправедливо. Действительно, радушие и гостеприимство провинциальное больше всего основываются на бездействии, праздности, скуке, привычке. Силу столичных людей они измеряют не местом, не связями, не влиянием, а чином и от души уверены, что если кто действительный статский советник, так уж непременно всемогущая особа, которой стоит только сказать слово, чтобы сейчас решили в вашу пользу процесс, тянувшийся пятьдесят лет, приняли ваших детей в учебное заведение, дали вам выгодное место, чин и орден. Откажите им в какой-нибудь просьбе, при всем вашем желании исполнить ее, но по невозможности выполнить, – и вот вы самый безнравственный человек в мире, вы зазнались, подняли нос… А у них первая добродетель – ни перед кем не зазнаваться, не отказываться ни от чьего знакомства и быть готовым к услугам всех и каждого. Правда, нигде нет такого важничанья, ломанья, счета старшинством, чинами, званием; но этот порок, опасный для общего мира и согласия, смягчается там добродетельною готовностию съежиться в присутствии человека, который хотя одним чином выше, и в то же самое время не уронить своего достоинства перед тем, кто чином ниже. Впрочем, эта добродетель процветает и в столице, хотя и в более тонких формах. Но в провинции это делается с истинно аркадскою наивностию. «Э, братец (говорит богатый помещик или важный чиновник бедному помещику или чиновнику), ты меня вовсе забыл аль недоволен мной, или плохо кормлю; кажется, у меня для тебя всегда есть плошка за столом, шут ты гороховый!» Бедняк слегка конфузится, бормочет извинения, держась перед своим патроном в почтительной позе; но в глазах его сияет удовольствие: он знает, где гнев, тут и милость и что в иной брани больше любви, чем в иной ласке. «Ну, да хорошо, Бог тебя простит, теперь пойдем-ка хлеба-соли откушать, обед готов». И оба довольны; один, что выполнил в точности законы патриархального

гостеприимства и обласкал бедного человека, другой, что хорошо принят и обласкан такою важною в его глазах персоною. И этот бедняк всегда предпочтет обществу совершенно равных ему людей не только общество аристократов его захолустья, но и общество низших его людей, потому что он тогда только и чувствует свое достоинство, когда унижается перед высшим и ломается перед низшим. Конечно, все сказанное теперь отнюдь не может относиться ко всем провинциалам: везде есть люди образованные, умные и достойные, но они везде в меньшинстве, а мы говорим о большинстве. Непосредственное влияние окружающей человека среды так на него сильно, что лучшие из провинциалов бывают не чужды провинциальных предрассудков и на первый раз теряются, приехавши в столицу.

Тут все дико им, все не так, как у них. Там жизнь простая, нараспашку; ходят друг к другу во всякое время, без доклада. Приходит сосед к соседу; в прихожей или нет никого или спит на грязном залавке небритый лакей, или оборванный мальчишка, а спит он потому, что ему нечего делать, хотя окружающая его грязь и вонь могли бы дать ему работы дня на два. И вот гость входит в залу – нет никого; в гостиную – тоже никого; он в спальню – и вдруг там раздается визгливое *ах!;* гость говорит в приятном замешательстве: извините-с, медленно пятится в гостиную, к нему кто-нибудь выбегает, изъявляет свой восторг от его посещения, и оба смеются над забавным приключением. А здесь, в столице, все назаперти, везде колокольчики, везде неизбежное: как прикажете доложить? а потом то дома нет, то нездоров, то просят извинить – заняты, а когда примут, то, конечно, вежливо, но зато как равнодушно, холодно, никакого радушия, ни позавтракать, ни пообедать не пригласят…

Но обратимся к герою «Обыкновенной истории». В нем есть чувство деликатности и приличия; хотя он и был уверен, что дядя примет его с восторгом и поместит у себя в квартире, однако какое-то темное чувство заставило его остановиться в трактире. Если б он сделал хорошую привычку рассуждать о том, что всего ближе к нему, он поразмыслил бы о темном чувстве, которое заставило его въехать в трактир, а не прямо на квартиру дяди, и скоро понял бы, что нет никаких причин ожидать от дяди другого приема, кроме как разве равнодушно-ласкового, и что нет у него никаких прав на жительство у него в квартире. Но, к несчастию, он привык рассуждать только о любви, дружбе и других высоких и далеких предметах и потому явился к дяде провинциалом с ног до головы. Исполненные ума и здравого смысла слова дяди ничего не растолковали ему, а только произвели на него тяжелое, грустное впечатление и заставили его романтически страдать. Он был трижды романтик – по натуре, по воспитанию и по обстоятельствам жизни, между тем как и одной из этих причин достаточно, чтоб сбить с толку порядочного человека и заставить его наделать тьму глупостей. Некоторые находят, что он с своими вещественными знаками невещественных отношений и другими чересчур ребяческими выходками не совсем вероятен, особенно в наше время. Не спорим, может быть, в этом замечании и есть доля правды: да дело-то в том, что полное изображение характера молодого Адуева надо искать не здесь, а в его любовных похождениях. В них он весь, в них он представитель множества людей, похожих на него, как две капли воды, и действительно обретающихся в здешнем мире. Скажем несколько слов об этой не новой, но все еще интересной породе, к которой принадлежит этот романтический зверек.

Эта порода людей, которых природа с избытком наделяет нервическою чувствительностию, часто доходящею до болезненной раздражительности…

Они рано обнаруживают тонкое понимание неопределенных ощущений и чувств, любят следить за ними, наблюдать их и называют это – наслаждаться внутреннею жизнию. Поэтому они очень мечтательны и любят или уединение, или круг избранных друзей, с которыми бы они могли говорить о своих ощущениях, чувствах и мыслях, хотя мыслей у них так же мало, как много ощущений и чувств. Вообще они богато одарены от природы

душевными способностями, но деятельность их способностей чисто страдательная: иные из них много понимают, но ни один не способен что-нибудь делать, производить; он немножко музыкант, немножко живописец, немножко поэт, даже при нужде немножко критик и литератор, но все эти таланты у него таковы, что он не может ими приобрести не только славы или известности, но даже вырабатывать посредственное содержание. Изо всех умственных способностей в них сильно развиваются воображение и фантазия, но не та фантазия, посредством которой поэт творит, а та фантазия, которая заставляет человека наслаждение мечтами о благах жизни предпочитать наслаждению действительными благами жизни. Это они называют жить высшею жизнию, недоступною для презренной толпы, парить гор*е*, тогда как презренная толпа пресмыкается долу. От природы они очень добры, симпатичны, способны к великодушным движениям; но как фантазия в них преобладает над рассудком и сердцем, то они скоро доходят до сознательного презрения к «пошлому здравому смыслу – этому, по их мнению, достоинству людей материальных, грубых и ничтожных, для которых не существует высокого и прекрасного»; сердце их, беспрестанно насилуемое в его инстинктах и стремлениях их волею, под управлением фантазии, скоро скудеет любовью, и они делаются ужасными эгоистами и деспотами, сами того не замечая, а напротив того, будучи добросовестно убеждены, что они самые любящие и самоотверженные люди. Так как в детстве они удивляли всех ранним и быстрым развитием своих способностей и оказывали, сколько своими достоинствами, столько же и недостатками, сильное влияние над своими сверстниками, из которых иные были гораздо выше их, – естественно, что они были захвалены с ранних лет и сами о себе возымели высокое понятие. Природа и без того отпустила им самолюбия гораздо больше, нежели сколько нужно его для экилибра человеческой жизни; удивительно ли, что легкие и мало заслуженные блестящие успехи усиливают у них самолюбие до невероятной степени? Но самолюбие в них бывает всегда так замаскировано, что они добросовестно не подозревают его в себе, искренно принимают его за гениальное стремление к славе, ко всему великому, высокому и прекрасному. Они долго бывают помешаны на трех заветных идеях: это – слава, дружба и любовь. Все остальное для них не существует; это, по их мнению, достояние презренной толпы. Все роды славы для них равно обольстительны, и сначала они долго колеблются, какой избрать путь для достижения славы. Им и в голову не приходит, что кто считает себя равно способным ко всем поприщам славы, тот не способен ни к какому, что самые великие люди узнавали о своей гениальности не прежде, как сделавши сперва что-нибудь действительно великое и гениальное, и узнают это не по собственному сознанию, а по одобрительным и восторженным кликам толпы. И вот манит их военная слава, им очень бы хотелось в Наполеоны, но только не иначе, как на таком условии, чтоб им на первый случай дали под команду хоть не большую, хоть стотысячную армию, чтоб они сейчас же могли начинать блестящий ряд побед своих. Манит их и гражданская слава, но не иначе, как на таком условии, чтоб им прямо махнуть в министры и сейчас же преобразовать государство (у них же всегда готовы в голове превосходные проекты для всякого рода реформ, стоит только присесть да написать). Но как зависть людей сделала невозможными такие гениальные скачки для таких гениальных людей и требует, чтоб всякий начинал свое поприще с начала, а не с конца, и на деле, а не на словах только доказал бы свою гениальность, то наши гении поневоле скоро обращаются к другим путям славы. Хватаются они иногда и за науку, но ненадолго: сухая и скучная материя, надобно много учиться, много работать, и нет никакой пищи сердцу и фантазии. Остается искусство; но какое же избрать? Архитектура, скульптура, живопись и музыка никакому гению не даются без тяжкого и продолжительного труда, и, что всего хуже и обиднее для романтиков, сначала труда чисто материального и механического. Остается поэзия – и вот они бросаются к ней со всего размаху и, еще ничего не сделавши, в мечтах своих украшают себя огненным ореолом поэтической славы. Главное их заблуждение

состоит еще не в нелепом убеждении, что в поэзии нужен только талант и вдохновение, что кто родился поэтом, тому ничему не нужно учиться, ничего не нужно знать: у кого действительно есть большой талант, тот силою самого таланта скоро поймет нелепость этой мысли и начнет все изучать, ко всему прислушиваться и приглядываться. Нет, главное и гибельное их заблуждение состоит в том, что они уверили себя в своем поэтическом призвании, как в непреложной истине, срослись с этою несчастною мыслию, так что разочароваться в ней – значит для них потерять всякую веру в себя и в жизнь и в цвете лет сделаться паралитическими стариками. И вот наш романтик принимается писать стихи и говорить в них о том, о чем давно прежде него было сказано и великими, и малыми поэтами, и вовсе не поэтами. Он воспевает в них свои страдания, которых не испытал; говорит о своих темных надеждах, из которых видно только то, что он сам не знает, чего хочет; простирает к братьям-людям горячие объятия и хочет разом прижать к сердцу все человечество или горько жалуется, что толпа холодно отвернулась от его братских объятий. Бедняк не понимает, что, сидя в кабинете, ничего не стоит вдруг возгореться самою неистовою любовью к человечеству, по крайней мере, гораздо легче, нежели провести без сна хотя одну ночь у постели трудно больного. Обыкновенно романтики придают страшную цену чувству, думают, что только одни они наделены сильными чувствами, а другие лишены их, потому что не кричат о своих чувствах. Чувство, конечно, важная сторона в натуре человека, но не все и не всегда поступают в жизни сообразно с своею способностию чувствовать глубоко и сильно. Случается и так, что иной, чем сильнее чувствует, тем бесчувственнее живет: рыдает от стихов, от музыки, от живого изображения человеческих бедствий в романе или повести и равнодушно проходит мимо действительного страдания, которое у него перед глазами. Иной управляющий, из немцев, со слезами восторга на глазах читает своей Минхен какое-нибудь восторженное послание Шиллера к Лауре и, кончивши последний стих, с неменьшим удовольствием идет пороть мужиков за то, что они осмелились робко намекнуть своему милостивому барину, что они не совсем довольны отеческими попечениями управляющего о их благосостоянии, от которых только один он и жиреет, а они все худеют. Стихи нашего романтика гладки, блестящи, не лишены даже поэтической обработки; хотя в них и довольно риторической водицы, однако в них местами проглядывает чувство, иногда даже блеснет мысль (как отголосок чужой мысли), – словом, заметно что-то вроде таланта. Стихи его печатаются в журналах, многие их хвалят; а если он явится с ними в переходную эпоху литератур, он может приобрести даже значительную известность. Но переходные эпохи литературы особенно гибельны для таких поэтов: их известность, приобретенная в короткое время *чем-то,* и в короткое же время исчезает просто от *ничего;* сперва их стихи перестают хвалить, потом читать, а наконец, и печатать. Но молодому Адуеву не удалось насладиться хотя на мгновение даже ложною известностию: его не допустили до этого и время, в которое он вышел с своими стихами, и умный откровенный дядя. Его несчастие состояло не в том, что он был бездарен, а в том, что у него вместо таланта был полуталант, который в поэзии хуже бездарности, потому что увлекает человека ложными надеждами. Вы помните, чего ему стоило разочарование в своем поэтическом призвании…

Дружба также дорого обходится романтикам. Всякое чувство, чтоб быть истинным, должно быть прежде всего естественным и просто. Дружба иногда завязывается от сходства, а иногда от противоположности натур; но, во всяком случае, она чувство невольное, именно потому, что свободное; им управляет сердце, а не ум и воля. Друга нельзя искать, как подрядчика на работу, друга нельзя выбрать; друзьями делаются случайно и незаметно; привычка и обстоятельства жизни скрепляют дружбу. Истинные друзья не дают имени соединяющей их симпатии, не болтают о ней беспрестанно, ничего не требуют один от другого во имя дружбы, но делают друг для друга, что могут. Бывали примеры, что друг не выносил смерти своего друга и умирал вскоре после него; другой от

потери своего друга из веселого человека делается на всю жизнь меланхоликом; а третий поскорбит, потужит, да и утешится, но если он навсегда сохранит воспоминание и оно будет для него вместе и грустно и отрадно, он был истинным другом умершего, хотя не только не умер сам от его потери, не сошел с ума, не сделался меланхоликом, но еще нашел силу быть довольно счастливым в жизни и без друга. Степень и характер дружбы зависят от личности друзей; тут главное, чтоб не было в отношениях ничего натянутого, напряженного, восторженного, ничего похожего на долг и обязанность, а то иной готов и Бог знает на какие самопожертвования для своего друга, чтобы сказать самому себе, а иногда и другим: «Вот таков я в дружбе!», или: «Вот к какой дружбе я способен!». Этот-то род дружбы обожают романтики. Они дружатся по программе, заранее составленной, где с точностию определены сущность, права и обязанности дружбы; они только не заключают контрактов с своими друзьями. Им дружба нужна, чтоб удивить мир и показать ему, как великие натуры в дружбе отличаются от обыкновенных людей, от толпы. Их тянет к дружбе не столько потребность симпатии, столь сильной в молодые лета, сколько потребность иметь при себе человека, которому бы они беспрестанно могли говорить о драгоценной своей особе. Выражаясь их высоким слогом, для них друг есть драгоценный сосуд для излияния самых святых и заветных чувств, мыслей, надежд, мечтаний и т. д., тогда как в самом-то деле в их глазах друг есть лохань, куда они выливают помои своего самолюбия. Зато они не знают дружбы, потому что друзья их скоро оказываются неблагодарными, вероломными, извергами, и они еще сильнее злобствуют на людей, которые не умели и не хотели понять и оценить их…

Любовь обходится им еще дороже, потому что это чувство само по себе живее и сильнее других. Обыкновенно любовь разделяют на многие роды и виды; все эти разделения большею частию нелепы, потому что наделаны людьми, которые способнее мечтать и рассуждать о любви, нежели любить. Прежде всего разделяют любовь на материальную, или чувственную, и платоническую, или идеальную, презирают первую и восторгаются второю… Действительно, есть люди столь грубые, что могут предаваться только животным наслаждениям любви, не хлопоча даже о красоте и молодости; но даже и эта любовь, как ни груба она, все же лучше платонической, потому что естественнее ее: последняя хороша только для хранителей восточных гаремов… Человек не зверь и не ангел; он должен любить не животно и не платонически, а человечески. Как бы ни идеализировали любовь, но как же не видеть, что природа одарила людей этим прекрасным чувством сколько для их счастия, столько и для размножения и поддержания рода человеческого. Родов любви так же много, как много на земле людей, потому что каждый любит сообразно с своим темпераментом, характером, понятиями и т. д. И всякая любовь истинна и прекрасна по-своему, лишь бы только она была в сердце, а не в голове. Но романтики особенно падки к головной любви. Сперва они сочиняют программу любви, потом ищут достойной себя женщины, а за неимением таковой любят пока какую-нибудь: им ничего не стоит велеть себе любить, ведь у них все делает голова, а не сердце. Им любовь нужна не для счастия, не для наслаждения, а для оправдания на деле своей высокой теории любви. И они любят по тетрадке и больше всего боятся отступить хотя от одного параграфа своей программы. Главная их забота являться в любви великими и ни в чем не унизиться до сходства с обыкновенными людьми. И однако ж в любви молодого Адуева к Наденьке было столько истинного и живого чувства; природа заставила на время молчать его романтизм, но не победила его. Он бы мог быть счастлив надолго, но был только на минуту, потому что все сам испортил. Наденька была умнее его, а главное попроще и естественнее. Капризное, избалованное дитя, она любила его сердцем, а не головою, без теорий и без претензий на гениальность; она видела в любви только ее светлую и веселую сторону и потому любила как будто шутя – шалила, кокетничала, дразнила Адуева своими капризами. Но он любил «горестно и трудно», весь

задыхающийся, весь в пене, словно лошадь, которая тащит в гору тяжелый воз. Как романтик, он был и педант: легкость, шутка оскорбляли в его глазах святое и высокое чувство любви. Любя, он хотел быть театральным героем. Он скоро все переболтал с Наденькой о своих чувствах, пришлось повторять старое, а Наденька хотела, чтоб он занимал не только ее сердце, но и ум, потому что она была пылка, впечатлительна, жаждала нового; все привычное и однообразное скоро наскучало ей. Но к этому Адуев был человек самый неспособный в мире, потому что, собственно, его ум спал глубоким и непробудным сном: считая себя великим философом, он не мыслил, а мечтал, бредил наяву. При таких отношениях к предмету его любви ему был опасен всякий соперник, – пусть он был бы хуже его, лишь бы только не походил на него и мог бы иметь для Наденьки прелесть новости, а тут вдруг является граф, человек с блестящим светским образованием. Адуев, думая повести себя в отношении к нему истинным героем, через это самое повел себя как глупый, дурно воспитанный мальчишка, и этим испортил все дело. Дядя объяснил ему, но поздно и бесполезно для него, что во всей этой истории был виноват только один он. Как жалок этот несчастный мученик своей извращенной и ограниченной натуры в последнем его объяснении с Наденькой и потом в разговоре с дядею! Страдания его невыносимы; он не может не согласиться с доводами дяди и между тем все-таки не может понять дело в его настоящем свете. Как! ему унизиться до так называемых хитростей, ему, который затем и полюбил, чтоб удивить себя и мир своею громадною страстию, хотя мир и не думал заботиться ни о нем, ни о его любви! По его теории, судьба должна была послать ему такую же великую героиню, как он сам, и вместо этого послала легкомысленную девчонку, бездушную кокетку! Наденька, которая еще недавно была в глазах его выше всех женщин, теперь вдруг стала ниже всех их! Все это было бы очень смешно, если б не было так грустно. Ложные причины производят такие же мучительные страдания, как и истинные. Но вот мало-помалу он перешел от мрачного отчаяния к холодному унынию и, как истинный романтик, начал щеголять и кокетничать «своею нарядною печалью». Прошел год, и он уже презирает Наденьку, говоря, что в ее любви не было нисколько героизма и самоотвержения. На вопрос тетки: какой любви потребовал бы он от женщины? – он отвечал: «Я бы потребовал от нее первенства в ее сердце; любимая женщина не должна замечать, видеть других мужчин, кроме меня: все они должны казаться ей невыносимы; я один выше, прекраснее (тут он выпрямился), лучше, благороднее всех. Каждый миг, прожитый не со мной, для нее потерянный миг; в моих глазах, в моих разговорах должна она почерпать блаженство и не знать другого; для меня она должна жертвовать всем: презренными выгодами, расчетами, свергнуть с себя деспотическое иго матери, мужа, бежать, если нужно, на край света, сносить энергически все лишения, наконец, презреть самую смерть, – вот любовь!»

Как эта галиматья похожа на слова восточного деспота, который говорит своему главному евнуху: «Если одна из моих одалисок проговорит во сне мужское имя, которое будет не моим, – сейчас же в мешок и в море!» Бедный мечтатель уверен, что в его словах выразилась страсть, к которой способны только полубоги, а не простые смертные; и между тем тут выразились только самое необузданное самолюбие и самый отвратительный эгоизм. Ему нужно не любовницу, а рабу, которую он мог бы безнаказанно мучить капризами своего эгоизма и самолюбия. Прежде чем требовать такой любви от женщины, ему следовало бы спросить себя, способен ли сам заплатить такой же любовью; чувство уверяло его, что способен, тогда как в этом случае нельзя верить ни чувству, ни уму, а только опыту; но для романтиков чувство есть единственный непогрешительный авторитет в решении всех вопросов жизни. Но если бы он и был способен к такой любви, это бы должно было быть для него причиною бояться любви и бежать от нее, потому что это любовь не человеческая, а звериная, взаимное терзание друг друга. Любовь требует свободы… любящиеся по временам хотят принадлежать и самим себе. Адуев требует

любви вечной, не понимая того, что чем любовь живее, страстнее, чем ближе подходит под любимый идеал поэтов, тем кратковременнее, тем скорее охлаждается и переходит в равнодушие, а иногда и в отвращение. И наоборот, чем любовь спокойнее и тише, то есть чем прозаичнее, тем продолжительнее: привычка скрепляет ее на всю жизнь. Поэтическая, страстная любовь – это цвет нашей жизни, нашей молодости; ее испытывают редкие, и только один раз в жизни, хотя после иные любят и еще несколько раз, да уж не так, потому что, как сказал немецкий поэт, май жизни цветет только раз. Шекспир недаром заставил умереть Ромео и Юлию в конце своей трагедии: через это они остаются в памяти читателя героями любви, ее апофеозою; оставь же он их в живых, они представлялись бы нам счастливыми супругами, которые, сидя вместе, зевают, а иногда и ссорятся, в чем вовсе нет поэзии.

Но вот судьба послала нашему герою именно такую женщину, то есть такую же, как он, испорченную, с вывороченным наизнанку сердцем и мозгом. Сначала он утопал в блаженстве, все забыл, все бросил, с утра до поздней ночи просиживал у ней каждый день. В чем же заключалось его блаженство? В разговорах о своей любви. И этот страстный молодой человек, сидя наедине с прекрасною молодой женщиной, которая его любит и которую он любит, не краснел, не бледнел, не замирал от томительных желаний; ему довольно было разговоров о взаимной их любви!.. Это, впрочем, понятно: сильная наклонность к идеализму и романтизму почти всегда свидетельствует об отсутствии темперамента; это люди бесполые, то же, что в царстве растений тайнобрачные грибы например. Мы понимаем это трепетное, робкое обожание женщины, в которое не входит ни одно дерзкое желание, но это не платонизм: это первый момент первой свежей, девственной любви, – это не отсутствие страсти, а страсть, которая еще боится сказаться самой себе. С этого начинается первая любовь, но остановиться на этом так же смешно и глупо, как захотеть остаться на всю жизнь ребенком и ездить верхом на палочке. Любовь имеет свои законы развития, свои возрасты, как цветы, как жизнь человеческая. У ней есть своя роскошная весна, свое жаркое лето, наконец, осень, которая для одних бывает теплою, светлою и плодородною, для других – холодною, гнилою и бесплодною. Но наш герой не хотел знать законов сердца, природы, действительности, он сочинил для них свои собственные, он гордо признавал существующий мир призраком, а созданный его фантазиею призрак – действительно существующим миром. Назло возможности он упорно хотел оставаться в первом моменте любви на всю жизнь свою. Однако ж сердечные излияния с Тафаевой скоро начали утомлять его; он думал поправить дело предложением жениться. Коли так, то надо бы было поторопиться; но он только думал, что решился, а в самом-то деле ему только был нужен предмет для новых мечтаний. Между тем Тафаева начала смертельно надоедать ему своей привязчивой любовью; он начал тиранить ее самым грубым и отвратительным образом за то, что уже не любил ее. Еще прежде этого он уж начинал понимать, что свобода в любви вещь недурная, что приятно бывать у любимой женщины, но так же приятно быть вправе пройтись по Невскому, когда хочется, отобедать с знакомыми и друзьями, провести с ними вечер, – что, наконец, при любви можно не бросать и службы. Измучивши бедную женщину самым варварским образом, взваливши на нее всю вину в несчастии, в котором он был виноват гораздо больше ее, он решился наконец сказать себе, что он ее не любит и что ему пора покончить с ней. Таким образом, его глупый идеал любви был вдребезги разбит опытом. Он сам увидел свою несостоятельность перед любовью, о которой мечтал всю жизнь свою. Он увидел ясно, что он вовсе не герой, а самый обыкновенный человек, хуже тех, кого презирал, что он самолюбив без достоинств, требователен без прав, заносчив без силы, горд и надут собою без заслуги, неблагодарен, эгоист. Это открытие словно громом пришибло его, но не заставило его искать примирения с жизнию, пойти настоящим путем. Он впал в мертвую апатию и решился отомстить за свое ничтожество природе и

человечеству, связавшись с животным Костяковым и предавшись пустым удовольствиям, без всякой охоты к ним. Последняя его любовная история гадка. Он хотел погубить бедную страстную девушку, так, от скуки, и не мог бы в этом покушении оправдаться даже бешенством чувственных желаний, хотя и это плохое оправдание, особенно когда есть для этого путь более прямой и честный. Отец девушки дал ему урок, страшный для его самолюбия: он обещал поколотить его; герой наш хотел с отчаяния броситься в Неву, но струсил. Концерт, на который затащила его тетка, расшевелил в нем прежние мечтания и вызвал его на откровенное объяснение с теткою и дядею. Здесь он обвинил дядю во всех своих несчастиях. Дядя по-своему действительно кое в чем сильно ошибался, но он был тут самим собою, не лгал, не притворялся, говорил по убеждению, что думал и чувствовал; если слова его подействовали на племянника более вредно, нежели полезно, – в этом виновата ограниченная, болезненная и поврежденная натура нашего героя. Это один из тех людей, которые иногда и видят истину, но, рванувшись к ней, или не допрыгивают до нее, или перепрыгивают через нее, так что бывают только около нее, но никогда в ней. Выезжая из Петербурга в деревню, он расквитался с ним фразами и стихами и прочел стихотворение Пушкина: «Художник варвар кистью сонной…» Эти господа ни на час без монологов и стихов – такие болтуны.

Он приехал в деревню живым трупом; нравственная жизнь была в нем совершенно парализована; самая наружность его сильно изменилась, мать едва узнала его. С нею он обошелся почтительно, но холодно, ничего ей не открыл, не объяснил. Он наконец понял, что между ним и ею нет ничего общего, что если б он стал ей объяснять, куда девались его волоски, она поняла бы это так же, как Евсей и Аграфена. Ласки и угождение матери скоро стали ему в тягость. Места – свидетели его детства – расшевелили в нем прежние мечты, и он начал хныкать о их невозвратной потере, говоря, что счастие в обманах и призраках. Это общее убеждение всех дряблых, бессильных, недоконченных натур. Ведь, кажется, опыт достаточно показал ему, что все его несчастия произошли именно оттого, что он предавался обманам и мечтам: воображал, что у него огромный поэтический талант, тогда как у него не было никакого, что он создан для какой-то героической и самоотверженной дружбы и колоссальной любви, тогда как в нем ничего не было героического, самоотверженного. Это был человек обыкновенный, но вовсе не пошлый. Он был добр, любящ и не глуп, не лишен образования; все несчастия его произошли оттого, что, будучи обыкновенным человеком, он хотел разыграть роль необыкновенного. Кто в молодости не мечтал, не предавался обманам, не гонялся за призраками, и кто не разочаровывался в них, и кому эти разочарования не стоили сердечных судорог, тоски, апатии, и кто потом не смеялся над ними от всей души? Но здоровым натурам полезна эта практическая логика жизни и опыта: они от нее развиваются и мужают нравственно; романтики гибнут от нее…

Когда мы в первый раз читали письмо нашего героя к тетке и дяде, писанное после смерти его матери и исполненное душевного спокойствия и здравого смысла, – это письмо подействовало на нас как-то странно; но мы объяснили его себе так, что автор хочет послать своего героя снова в Петербург затем, чтобы тот новыми глупостями достойно заключил свое донкихотское поприще. Письмом этим заключается вторая часть романа; эпилог начинается через четыре года после вторичного приезда нашего героя в Петербург. На сцене Петр Иваныч. Это лицо введено в роман не само для себя, а для того, чтобы своею противоположностию с героем романа лучше оттенить его. Это набросило на весь роман несколько дидактический оттенок, в чем многие не без основания упрекали автора. Но автор умел и тут показать себя человеком с необыкновенным талантом. Петр Иваныч – не абстрактная идея, а живое лицо, фигура, нарисованная во весь рост кистью, смелою, широкою и верною. О нем, как о человеке, судят или слишком хорошо, или слишком дурно, и в обоих случаях ошибочно. Одни хотят видеть в нем какой-то идеал, образец для

подражания: это люди положительные и рассудительные. Другие видят в нем чуть не изверга: это мечтатели. Петр Иваныч по-своему человек очень хороший; он умен, очень умен, потому что хорошо понимает чувства и страсти, которых в нем нет и которые он презирает; существо вовсе не поэтическое, он понимает поэзию в тысячу раз лучше своего племянника, который из лучших произведений Пушкина как-то ухитрился набраться такого духа, какого можно было бы набраться из сочинений фразеров и риторов. Петр Иваныч эгоист, холоден по натуре, не способен к великодушным движениям, но вместе с этим он не только не зол, но положительно добр. Он честен, благороден, не лицемер, не притворщик, на него можно положиться, он не обещает, чего не может или не хочет сделать, а что обещает, то непременно сделает. Словом, это в полном смысле порядочный человек, каких, дай Бог, чтобы было больше. Он составил себе непреложные правила для жизни, сообразуясь с своею натурою и с здравым смыслом. Он ими не гордился и не хвастался, но считал их непогрешительно верными. Действительно, мантия его практической философии была сшита из прочной и крепкой материи, которая хорошо могла защищать его от невзгод жизни. Каковы же были его изумление и ужас, когда, дожив до боли в пояснице и до седых волос, он вдруг заметил в своей мантии прореху – правда, одну только, но зато какую широкую. Он не хлопотал о семейственном счастии, но был уверен, что утвердил свое семейственное положение на прочном основании, – и вдруг увидел, что бедная жена его была жертвою его мудрости, что он заел ее век, задушил ее в холодной и тесной атмосфере.

Какой урок для людей положительных, представителей здравого смысла! Видно, человеку нужно и еще чего-нибудь немножко, кроме здравого смысла! Видно, на границах-то крайностей больше всего и стережет нас судьба. Видно, и страсти необходимы для полноты человеческой натуры, и не всегда можно безнаказанно навязывать другому то счастие, которое только нас может удовлетворить, – но всякий человек может быть счастливым только сообразно с собственною натурою. Петр Иваныч хитро и тонко расчел, что ему надо овладеть понятиями, убеждениями, склонностями своей жены, не давая ей этого заметить, вести ее по дороге жизни, но так, чтоб она думала, что сама идет; но он сделал в этом расчете одну важную ошибку: при всем своем уме, он не сообразил, что для этого надо было выбрать жену, чуждую всякой страстности, всякой потребности любви и сочувствия, холодную, добрую, вялую, всего лучше пустую, даже немножко глупую. Но на такой он, может быть, не захотел бы жениться по самолюбию; в таком случае ему следовало вовсе не жениться.

Петр Иваныч выдержан от начала до конца с удивительною верностию, но героя романа мы не узнаем в эпилоге: это лицо вовсе фальшивое, неестественное. Такое перерождение для него было бы возможно только тогда, если б он был обыкновенный болтун и фразер, который повторяет чужие слова, не понимая их, наклепывает на себя чувства, восторги и страдания, которых никогда не испытывал; но молодой Адуев, к его несчастию, часто бывал слишком искренен в своих заблуждениях и нелепостях. Его романтизм был в его натуре; такие романтики никогда не делаются положительными людьми. Автор имел бы скорее право заставить своего героя заглохнуть в деревенской дичи в апатии и лени, нежели заставить его выгодно служить в Петербурге и жениться на большом приданом. Еще бы лучше и естественнее было ему сделать его мистиком, фанатиком, сектантом; но всего лучше и естественнее было бы ему сделать его, например, славянофилом. Тут Адуев остался бы верным своей натуре, продолжал бы старую свою жизнь и между тем думал бы, что он и Бог знает как ушел вперед, тогда как, в сущности, он только бы перенес старые знамена своих мечтаний на новую почву. Прежде он мечтал о славе, о дружбе, о любви, а тут стал бы мечтать о народах и племенах, о том, что на долю славян досталась любовь, а на долю тевтонов – вражда, о том, что во времена Гостомысла славяне имели высшую и образцовую для всего мира цивилизацию, что современная Россия быстро идет

к этой цивилизации, что этого не видят только слепые и ожесточенные рассудком, а все зрячие и размягченные фантазиею давно это ясно видят. Тогда бы герой был вполне современным романтиком, и никому бы не вошло в голову, что люди такого закала теперь уже не существуют…

Придуманная автором развязка романа портит впечатление всего этого прекрасного произведения, потому что она неестественна и ложна. В эпилоге хороши только Петр Иваныч и Лизавета Александровна до самого конца; в отношении же к герою романа эпилог хоть не читать… Как такой сильный талант мог впасть в такую странную ошибку? Или он не совладал с своим предметом? Ничуть не бывало! Автор увлекся желанием попробовать свои силы на чуждой ему почве – на почве сознательной мысли – и перестал быть поэтом…автор «Обыкновенной истории» впал в важную ошибку именно оттого, что оставил на минуту руководство непосредственного таланта. <…>…Гончаров рисует свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своею способностию рисовать; говорить и судить и извлекать из них нравственные следствия ему надо предоставить своим читателям. <…> Главная сила таланта г. Гончарова – всегда в изящности и тонкости кисти, верности рисунка; он неожиданно впадает в поэзию даже в изображении мелочных и посторонних обстоятельств, как, например, в поэтическом описании процесса горения в камине сочинений молодого Адуева…в таланте г. Гончарова поэзия – агент первый и единственный…

Несмотря на неудачный или, лучше сказать, на испорченный эпилог, роман г. Гончарова остается одним из замечательных произведений русской литературы. К особенным его достоинствам принадлежит, между прочим, язык чистый, правильный, легкий, свободный, льющийся. Рассказ г. Гончарова в этом отношении не печатная книга, а живая импровизация. Некоторые жаловались на длинноту и утомительность разговоров между дядею и племянником. Но для нас эти разговоры принадлежат к лучшим сторонам романа. В них нет ничего отвлеченного, не идущего к делу; это – не диспуты, а живые, страстные, драматические споры, где каждое действующее лицо высказывает себя как человека и характер, отстаивает, так сказать, свое нравственное существование. Правда, в такого рода разговорах, особенно при легком дидактическом колорите, наброшенном на роман, всего легче было споткнуться хоть какому таланту; но тем больше чести г. Гончарову, что он так счастливо решил трудную самое по себе задачу и остался поэтом там, где так легко было сбиться на тон резонера…

Г. Н. Потанин

[64]

Воспоминания об И. А. Гончарове

[65]

Иван Александрович Гончаров происходил из старинного рода симбирских купцов. Видный дом отца Гончарова, каменный, двухэтажный, стоял на Большой улице; обстановка его была барская: большой зал с люстрой, нарядная гостиная с портретом хозяина и неизбежная диванная; на двор окнами – кабинет хозяина, спальня хозяйки и большая, светлая комната для детей. Иван Александрович говорит, что двор отца был загроможден постройками, да иначе и быть не могло: в нем жили две большие дворни – хозяина и постояльца, бегали цесарки, павлины и т. п. Старый слуга Гончарова мне говорил, что у каждого дворового была еще своя потеха: кто держал голубей, кто собак, кто заводил ворона или ястреба – «значит, всякий по своему скусу; а благородные пташки, канареечки али соловушки, ну те уж там висели, в барских комнатах, потешали господ». Вот в какой благодати родился и жил Иван Александрович в первые годы младенчества.

После пожара 1864 года дом этот был продан и поступил во владение немца, изменившего совершенно характер и архитектуру старинного здания.
Отец Гончарова, Александр [Иванович], пользовался почетом в городе: его много раз выбирали городским головой. На портрете старик Гончаров изображен видным мужчиной, среднего роста, белокурый, с голубовато-серыми глазами и приятной улыбкой; лицо умное, серьезное; на шее медали. Мать Гончарова, Авдотья Матвеевна, умная и солидная женщина, обратила на себя внимание императора Александра Павловича, танцевавшего с нею на купеческом балу. Об этом счастливом времени старушка всегда с восторгом рассказывала детям и внукам и под веселый час, отпирая сундуки, показывала нам наряды старого времени. Семейство Александра [Ивановича] состояло из двух сыновей и двух дочерей; Иван Александрович был старшим сыном
[66]; младший брат его, Николай, впоследствии учитель русского языка и словесности в гимназии, был гуманным человеком. Сестры Гончарова – Александра, вышедшая потом замуж за ардатовского помещика Кирмалова, и Анна, ставшая женой оригинала доктора Музалевского. Нельзя не упомянуть о преданных слугах дома Гончаровых, о Никите и Софье.
Иван Александрович поразительно верно описал их в романе «Обыкновенная история» под именем слуги Адуева, Евсея, и ключницы Аграфены.
Иван Александрович родился, как известно, в 1812 году и жил семьдесят девять лет. Он рано лишился отца; ему было тогда три года
[67]. Но эту тяжелую потерю вполне заменил Гончарову крестный отец всех четырех детей, Николай Николаевич Трегубов, отставной моряк.
Николай Николаевич, постоялец в доме Гончарова, друг старика, был принят в семье как родной. Холостяк, он любил детей, которые, в свою очередь, были привязаны к нему искренно. По смерти Александра [Ивановича] Трегубов из флигеля перешел в дом; дети стали ближе, привыкли еще больше, и мало-помалу связи между крестным и детворой крепчали и приняли определенную форму отношений. Он был хорошим советником вдовы и руководителем детей. Биограф Гончарова о Трегубове говорил, что он был передовой человек того времени, масон, друг Лабзина и Порошина, в дружеской переписке с декабристами; умный, образованный, живой, он заслужил общую любовь и уважение в городе, и вокруг него собиралось лучшее общество в Симбирске. Гончаров к этому добавляет, что «Якубов (так он называет Трегубова в своих записках) был вполне просвещенный человек: образование его не ограничивалось одним морским корпусом, он всю жизнь читал и пополнял его по всем отраслям знаний». «Мать наша, – продолжает Иван Александрович, – в благодарность за то, что крестный взял на себя заботу о нашем воспитании, взяла на себя заботы о его житье-бытье, хозяйстве, и мы жили общим домом»
[68]. Эта духовная связь моряка с семьей Гончарова кончилась тем, что Николай Николаевич – в знак благодарности, что его, холостяка и старого бобыля, приютили в семье и дали насладиться семейной радостью, – все свои богатые имения роздал Гончаровой и ее детям. Я теперь не помню, что получила от него сама Авдотья Матвеевна, но мне положительно известно, что богатые ардатовские имения: Хухорево, Цыганово, Обуховка, Майданы – были подарены Александре Александровне Кирмаловой, а Чертановка с приселками Анне Александровне Музалевской. Сыновьям он имения не дал, а выразился о них своеобразно: «Я дал им в приданое образование и позабочусь об их карьере, – остальное пусть добывают сами».
<…>
…Гончаров пишет о крестном отце, что он был человек «вспыльчивый», но тут же добавляет, что добрый крестный никогда не исполнял тех угроз, которые вырывались у него в минуты гнева; а по всем заметкам о матери тоже ясно видно, что Авдотья Матвеевна, при всей строгости, была женщина мягкая и добродушная. <…>

<…> Был ли Николай Николаевич вспыльчив? Не могу сказать: я этого не испытал; поругаться, как моряк, умел мастерски, особенно как начнет, бывало, распекать прислугу. Но самые задушевные и трогательные рассказы его были о «ребятах» – так он звал гончаровских детей.

«У кумушки моей, – говорил он, – была четверка детей; мы разделили их поровну: ей парочку девчат, мне пару ребят. С пелен я принял их на себя и сам учил грамоте с аза. Коля и Ваня были умные детки, с головой. Только Коля был какой-то сонный: не поймешь, бывало, что с ним такое, – вечно рассеян; слушает – не слышит; скажешь что – не поймет; рассказывать начнет – переврет; так и махнешь рукой. Одно в нем было удивительно: огромная память. Сколько стихотворений он знал в детстве и, представьте, все отлично декламировал. А Ваня мой не такой, – этот не заснет, нет! Этот был мальчик живой, огонь. Бывало, как начнешь рассказывать что-нибудь из моих скитаний по белу свету, так он, кажется, в глаза готов впрыгнуть, так внимательно все слушает, да еще надоедает: „Крестный, скажи еще“. Так, бывало, и пройдет весь день с ним в болтовне. Лет шести, верно, я выучил его грамоте, а уж и не рад, как он начал читать. Вообразите, милый Гаврила Никитич, такой-то клопик заползает ко мне в библиотеку и торчит там до тех пор, пока насильно его вытащат есть или пить. Бывало, пойдешь полюбопытствовать, не заснул ли там мой сынок, – куда-с!.. Заглянешь в книжку к нему – точит какое-нибудь путешествие… И тут же начнет лепетать: живо расскажет, что ему особенно понравилось. Больше всего любил он морские путешествия: об них он всегда азартно мне рассказывал. Бывало, восторженный, бежит с Волги и кричит с улицы: „Крестный, я море видел! Ах, какая там большая, светлая вода прыгает на солнце! Какие большие корабли с парусами!“ – „Какое море твоя Волга! Ты теперь понять еще не можешь, какое большое бывает море“, – ответишь ему. Так что вы думаете? Он целый день после того покою мне не даст: скажи да скажи, какой длины море бывает! А что я скажу ему, положим, о Великом океане, когда человечек еще понятия не имеет, что такое аршин или вершок? А как скажешь ему, бывало, на ребячьи восторги его: „Ах, Ваня, Ваня, если б ты сделал со временем хоть одну морскую кампанию, то-то порадовал бы меня, старика“, – так он ничего мне на это не ответит, задумается глубоко и молчит… Ох, что-то он теперь поделывает в своем казенном Питере? Долго от него нет вестей. В чернилах, я думаю, купается вместо моря?» Старик над этим вопросом задумывается надолго, и после того от него не услышишь уже ничего. Лет восьми-девяти дети Гончаровой начали ходить учиться в частные пансионы в городе. Симбирск, как дворянский город, был полон тогда всякими частными пансионами, даже иностранными: то Фурне, то Дуври, то Пиге, то Мейсель, – были даже привилегированные учителя танцев, как, например, француз Монсар и полуфранцуз Фе. Но умному крестному, верно, не совсем нравились эти пансионы. Ругается, бывало, выходит из себя. «Невежи. Черт их знает, чему они учили наших ребят?.. Спросишь самое обыкновенное, детское, и на это один ответ: „Нам об этом не говорили“; что же они там преподавали?.. А вы меня извините, молодой человек: я старик любопытный, раза два подслушал, как вы преподаете моим внукам. Правда, у вас еще нет ни методы, ни опытности, а все-таки идет сносно… А там, бывало!..» – и махнет рукой. Вот почему Николай Николаевич посоветовал матери Гончарова отдать сына за Волгу, в имение графа Головкина, в село Архангельское, где был особенно оригинальный пансион, под фирмою: «для местных дворян» [69]. Пансион этот содержал местный поп и жена его, француженка или немка. Но к чести попа я должен прибавить, что почтенный протоиерей, Федор Антонович [70] Троицкий, был весьма замечательный человек; он кончил курс в академии и присватался к местной гувернантке Лицман; та приняла православие и превратилась в попадью, а он после посвящения получил место попа в родное село Архангельское и, точно в знак благодарности, принял от жены фамилию Лицман, часто так подписывался в официальных бумагах, и я знал двух сыновей его, которые в гимназии носили фамилию

Лицманы. В доме Гончаровых я часто видел протоиерея Троицкого уже стариком, но и тогда он был красавец и щеголь, одевался в бархат, имел приятный голос, живо, увлекательно говорил, а от братии своей попов отличался особенно изящными манерами и умел держать себя корректно. В доме Гончаровых протоиерей Троицкий был такая почетная личность, что его встречали как архиерея. В этом оригинальном пансионе Иван Александрович выучился французскому и немецкому языку, а главное – нашел у батюшки библиотеку и принялся опять читать усердно. <…>

…десятилетнего Гончарова крестный отец отвез в Москву и отдал в дельное заведение, как сказано в записках. Это дельное заведение – Московское коммерческое училище, куда и поступили оба брата Гончаровы, в младшее отделение. Николай кончил курс в коммерческом, и по всем сведениям его ясно было видно, что это было действительно «дельное» заведение того времени; кончил ли курс в коммерческом училище Иван Александрович и долго ли там учился, это неизвестно [71], да и вообще о всех юношеских годах писателя почти ничего не известно. Брат иногда говорил со мной об этом времени. От него я узнал, что Иван Александрович лет десять, до поступления в университет, больше жил в Москве, – «там ему лучше нравилось, чем дома, – прибавлял он грустно; – крестный же его баловал: бывало, отпустит погостить к своим родным или знакомым, а он так загостится в своей Москве, что совсем нас забудет, и маменька не может его выписать. Ветреный был! Он и мне писал по-ребячьи, – помню его насмешливую фразу: „Ну что ты киснешь там, дома, Коля, – приезжай сюда, в Москве весело!“ А я, признаюсь вам, сколько ни посещал Москвы, никогда мне она так не нравилась, как наш милый Симбирск. Но брат мой, несмотря на суету, и в Москве находил время много читать. Бывало, целый каталог пришлет показать, что он там прочитал: дети мы были, пустенькое любили. И теперь в Москве много Евстигнеевых да Манухиных с московской литературой, а тогда их было еще больше. Забавно иногда брат описывал новых знакомых; проказничал немало, а, впрочем, не кутил. Особенно восхищался он тогда французской литературой – французский язык он знал так же хорошо, как я немецкий». <…>

Что касается мировоззрения и взгляда на жизнь, то положительно можно сказать, что Гончаров в юности был такой же восторженный мечтатель, как все мы, юноши тридцатых и сороковых годов, да иначе и быть не могло. Время было такое – эпоха самого крайнего романтизма в Европе и в нашей молодежи. <…>

В 1830 году Гончаров хотел поступить в университет, но по случаю холеры университет был закрыт, и потому пришлось поступить позже. Курс университета продолжался тогда три года, и Гончаров кончил его блистательно. <…>

Нечего добавлять, что эти три года студенческой жизни были для Ивана Александровича самые счастливые! Брат его мне говорил, что «из университета он часто писал самые веселые и занимательные письма, которые, к сожалению, затерялись».

Одно только студенческое письмо Ивана Александровича каким-то чудом не затерялось у брата, и он хранил его, как сокровище. Оно было написано на трех почтовых листках, мелким, бисерным почерком; по содержанию это была передача разнообразных впечатлений студента. То он воздает должное поклонение профессору и удивительной лекции его и тут же прибавляет, что в Кремлевском саду встретил незнакомку, с которой неожиданно познакомился коротко; то рассказывает серьезную беседу с товарищами о философии, поэзии, логике и тут же сообщает о самом пустом случае с ним на улице.

По окончании курса Гончаров приехал на родину. Двенадцать лет он не видел родного городка, – и можете себе представить, говорит его биограф, какое безотрадное впечатление произвела на молодого Гончарова сонная жизнь Симбирска после кипучей и животрепетной жизни столицы?.. Несмотря на то что Гончаров любил родной город, и особенно дом матери, и в письмах брату писал: «Завидую, что ты теперь дома, а я между

холодными чужими», несмотря на все это, Гончаров написал самую жалкую картину нашей провинциальной жизни: «Сон Обломова». Однако, несмотря на эту жалкую картину провинциальной жизни, Гончаров все-таки с год прожил у матери и, по-видимому, намеревался остаться в Симбирске, потому что поступил на службу в канцелярию губернатора, но в конце года не выдержал и с тем же губернатором уехал в Петербург «делать карьеру», говорит критик, то есть определился на службу и погрузился в чиновный петербургский омут на пять лет
[72]. В эти годы он так въелся в службу, что даже редко писал к своим. По рассказам брата, Иван Александрович был принят в доме Майкова, старика художника, там он учил детей (Аполлона, будущего поэта), там он занимался живописью и впервые попробовал свой литературный талант. Друг дома, молодой Солоницын, затеял издавать домашний, писаный «журнал»
[73] и в сотрудники пригласил Ивана Александровича. Гончаров в журнале Солоницына написал два первые рассказа. Эти пять лет чиновничьей службы, само собой, отразились на молодом человеке, которому этот мир раскрывал те отрицательные стороны, которые целиком вошли в его первый роман «Обыкновенная история», где фигура типичного чиновника-дельца, дяди Адуева, художественна и правдива, как сама жизнь.
Чрезвычайно интересно, как Иван Александрович объясняет, почему первый роман его назван «Обыкновенная история». «Адуев кончил тем, как кончали многие тогда: послушался практической – чиновной – мудрости дяди, принялся усердно работать по службе, и хотя пописывал в журналах, но уже не стишки; словом, проживши эпоху юношеских волнений, он. как большинство в Петербурге, достиг положительных чиновных благ, то есть: занял по службе прочное положение, получил видное место, выгодно женился – словом, ловко обделал свои дела». Вот в чем заключается «Обыкновенная история». Известно, что первый роман Гончарова имел большой успех как в обществе, так и в литературных кружках.
После такого счастливого успеха Гончаров пишет брату: «Еду в Симбирск повидаться с маменькой». А добрейший Николай Александрович всем рассказывает: «Брат мой, новый литератор, едет сюда», – и Симбирск проснулся от своей обломовщины. Все начинают читать «Обыкновенную историю»; все спрашивают: «А вы читали? Ах, как хорошо!» А тут еще где-то в газетах нашли первую критику романа, и так расхвален Гончаров!
Добрейший Николай Александрович, по рассеянности, три раза меня спрашивал: «А вы читали моего брата? Хотите, я книжку вам дам, – он мне прислал. Ах, читали уж, приятно слышать! Как по-вашему?» Но я не ответил ничего. В то время в душе я ненавидел злодея, старого Адуева. А в городе любопытство росло, только и слышно: «едет», «скоро приедет», «ждут на днях». Помню, как новый учитель словесности Грум-Гржимайло опрометью вбежал к нам в VII класс и торопливо спросил: «Потанин здесь?.. А, вот… я слышал, вы даете уроки в доме Гончарова, пожалуйста, не забудьте тотчас известить меня, когда приедет наш новый литератор. Я знаком с Иваном Александровичем еще по Петербургу», – и убежал. А слово «литератор» даже пугало меня, гимназиста. Слово это во времена императора Николая имело весьма важное и высокое значение, не то что теперь. В истории литературы почти все биографии литераторов того времени начинались так: «А. А. – литератор Российской империи, действительный статский советник и кавалер, родился в Москве, служил в высших должностях в Петербурге; творения его и т. д.» – так по крайней мере я прочитал и заучил в биографиях Булгарина и Греча. Напечатана даже была толстая книга «Сто русских литераторов», с превосходными портретами Зотовых, Свиньиных, гравированными в Англии на стали. Поневоле страшила меня встреча с таким важным лицом, как литератор. Все кругом только и говорило о нем. Даже товарищи начинали завидовать и подшучивать надо мной: «А ты, брат, как увидишь его, сейчас беги, скажи, какой такой литератор. Беленький, серенький или черненький

он?» – «Зеленый с отливом!» – бухнул из угла наш дубовый насмешник Дидим. Все захохотали. Кто-то в другом углу вздохнул и начал плачевно: «А счастливец, братцы, этот Потанин: он первый увидит нашего симбирского литератора, а мы после… еще черт знает когда!»

Наконец сбылось ожидание Симбирска: «приехал!» Кто? Не спрашивай, все знают! Первые дни по приезде писателя в семье Гончаровых были проведены празднично. В эти праздничные дни не было даже уроков, и я с неделю к Гончаровым не ходил. Наконец настал и мой страшный день: представление гимназиста литератору. А я уж пронюхал, что Иван Александрович «отчаянный питерский франт» и такой «щеголь», каких свет не производил. Так отозвалась о нем сама горничная Гончаровых Маша, а кому же верить, как не горничным: они подробнее всех рассматривают наряды молодых господ.

«Господи! – думал я в отчаянии. – Как это я, несчастный, с заплатанными сапогами, продранными локтями, оторванной пуговкой и смятым стоячим воротником, покажусь такому щеголю, какого свет не производил?»

[74], и мне в эту минуту было не только стыдно самого себя, а даже совестно, – не знаю отчего.

– Пойдемте, я вам брата покажу, – явилась веселая Александра Александровна в классную и повела меня в гостиную литератору показать.

К счастью моему, в гостиной не было ничего страшного: Иван Александрович беседовал с гувернанткой, Варварой Лукиничной, и, должно быть, очень весело, потому что гувернантка хохотала чуть не до истерики. Передо мной предстал обыкновенный мужчина среднего роста, полный, бледный, с белыми руками, как фарфор; коротко стриженные волосы, голубовато-серые глаза, как на портрете отца, но улыбка не отцовская, насмешливая. Одет он был безукоризненно: визитка, серые брюки с лампасами и прюнелевые ботинки с лакированным носком, одноглазка на резиновом шнурке и короткая цепь у часов, где мотались замысловатые брелоки того времени: ножичек, вилочка, окорок, бутылка и т. п. Петербургские франты того времени не носили длинных цепей на шее. Гончаров был подвижен, быстр в разговоре, поигрывал одноглазкой, цепочкой или разводил руками.

– Брат, вот тот учитель, о котором я с тобой говорила, господин Потанин.

– А, приятно слышать!.. – отозвался тот небрежно и осмотрел меня с головы до ног, впрочем, подал руку и пригласил: – Присядьте, побеседуем.

Я, как Акакий Акакиевич, присел на кончик стула. А литератор задумался, точно соображал, о чем ему побеседовать с гимназистом. Он с того и начал:

– Так учительствуете, господин… Как вас по имени?

– Да, учу и учусь, Иван Александрович.

– Это похвально-с.

В это время за матерью вбежали два мои ученика.

– Ну, а как вот эти сорванцы, мои племяши, зовут вас в классе: пе́дагог или педаго́г?

– Не так и не этак, Иван Александрович. Они просто зовут меня «учитель». А если б вздумалось им, по незнанию, искалечить слово «педаго́г», так моя обязанность, как учителя, поправить, и я, конечно, поправлю.

– Так-с, резонно.

Он взглянул на гувернантку, та улыбнулась, а я покраснел.

– Однако вы, господин учитель, извините, что я экзаменую вас, как ученика; это потому, что мне хочется знать, что у вас тут делается. Вы, кажется, в последнем классе?

– Да, в седьмом.

– А много ли из вас кончит курс?

– Все, я думаю, тринадцать.

– Ой, какое несчастное число, тринадцать! Из тринадцати, пожалуй, кого-нибудь оставят? – Он пытливо взглянул на меня.
– Может быть, – ответил я, недовольный. Мне ужасно не нравилась его улыбка.
– А скажите, пожалуйста, отчего такой маленький выпуск? Разве в гимназии вашей мало народу?
– Учеников, хотите вы сказать, сто семьдесят пять. На днях я писал общий список к ревизии попечителя Пушкина…
– О-о-о! «Пушкин» вы сказали? Ведь ваш казанский Пушкин совсем не похож на нашего петербургского? Говорят, он гроза ваших гимназий? Я думаю, вы, ух, как боитесь Пушкина?
– Ну, брат Ваня, ты не думай так плохо о нашей гимназии! Из симбирской гимназии в университет принимают без экзамена, такая гимназия во всем округе одна!
– Вот как! Это для меня новость, я не знал. А скажите, пожалуйста, как у вас словесность идет: что читаете, пиш-шете, со-чи-ня-ете?..
– Читаем больше Карамзина; я люблю Жуковского (Иван Александрович поморщился), Пушкина, конечно; я недавно Аксакова читал, теперь Гоголя…
– Да, да! Этих стоит читать – громкие имена! А как, Николя, твои ученики пописывают что-нибудь?.. И порядочное выходит?..
– И очень порядочное, друг: в прошлом году Николай Хотев написал такие стихи – напечатаны были по распоряжению попечителя, а лет пять назад Дмитриев написал сказку «Конек-Горбунок» – тоже напечатана; очень порядочная сказка. И господин Потанин тоже пописывает кое-что, – Николай Александрович улыбнулся, – на прошлой неделе он читал мне стихотворение «Осень», очень хорошо написано.
– Осень, осень! – вздохнул тяжело Иван Александрович. – Ив ваши лета «Осень», – писали бы «Весну»!
– Не пишется, Иван Александрович! Моя весна – не красна! – ответил я горько.
Он на это ничего не сказал; взглянул только на меня ласково и задумался, а на лице его выразились жалость и тоска. В эту минуту я готов был броситься и расцеловать Гончарова, ибо в это мгновение мне виделось ясно, что этому великому человеку известен не один видимый миру смех, а иногда и незримые миру слезы. Вдруг он точно встрепенулся, крепко сжал мне руку и выговорил твердо:
– Пишите, пишите, молодой человек! Это хорошо. Я обомлел от восторга и не помню, что ответил ему.
– Ну, а ты что, Николай, – обратился он к брату, – пишешь что-нибудь или по-прежнему почитываешь твое «Слово о полку»?.. Отчего не почитывать? Оно хорошо написано. Ах, я и забыл: ведь оно, кажется, тебе и посвящено Минаевым?
– Да, мне, – ответил скромно «добрейший».
– А как твои «Исследования славянских наречий», о которых ты так хвалебно написал? Как бишь это там сказано: «тятя, дядя, тетя, титя, дитя, батя»? Все это, по-твоему, от одного слова «тятя» родилось?
– Ну, об этом, друг Ваня, нам нечего с тобой много болтать. Твоя литература – беллетристика; тебе, милый, не понять, как важны исследования профессора Григоровича: они, может быть, со временем объединят всю нашу великую славянскую семью в Европе!
– А ты, уж кажется, сердиться начинаешь на мою шутку?.. – спросил Иван Александрович с удивлением.
– Нет, милый, я никогда не сержусь ни на кого! У каждого свое мнение, вот и я высказал тебе свое.
– Ну, прости, Коля. Я согласен с тобой.
Иван Александрович обнял брата, и оба задумались. Я простился и ушел.

В другой раз я видел Гончарова другим человеком, в третий – третьим, уже совсем непохожим на первого и второго, и чем больше в него всматривался, тем больше казался он мне непонятным и неуловимым: он по-петербургски мог в одно и то же время смеяться и плакать, шутить и важно говорить. <…>

Теперь мы взглянем на Гончарова, каков он был в домашнем быту, у матери. Это было самое счастливое время для Гончарова; он жил здесь, если можно так выразиться, самою живою жизнью, какою только может жить человек на земле. Тут было все: и радость первого литературного успеха, и пленительные воспоминания детства, и сияющее лицо матери, и ласки, восторги, подарки тому же счастливому любимцу, и воркование слепой няни, которая теперь готова молиться на своего Ванюшу, и раболепие старика слуги, который, как мальчишка, бегает, суетится, бросается во все углы, лишь бы угодить Ивану Александровичу. А тут еще такой почет общества, приглашение губернатора быть без чинов, человеком своим, и, наконец, гордость купцов: «Каков наш Гончаров! Вон куда залетают из наших!» Да, окруженный семьей, осыпанный ласками, оживленный всем окружающим, он здесь вполне чувствовал, что он именно то солнце, которое все собой озаряет и радует всех. Зато надобно было видеть, как Иван Александрович в это время был жив и игрив. Боже мой! Как умилительно прикладывался к руке матери, точно к иконе, и в порыве так страстно обнимет старуху, что та задыхается в объятиях сына, на лету ловит, целует брата, сестер, племянников, племянниц, да что и говорить о кровных родных, – он в настоящее время всем был близкий родной. Придет какой-нибудь мещанин Набоков, семьюродный внук дедушке Ивана Александровича, скажет простодушно: «На тебя пришел поглядеть, Иван Александрович! Какой такой ты есть на свете?» – и этого он приветит, приласкает, поцелует, усадит в кресло; час толкует с ним об его огороде; спросит: «Есть ли садик? Здесь у всех садики»; узнает, есть ли семья, детки, и если беден, так денег даст. Даже с прислугой он обращался точно с братьями и сестрами: комично кланяется всем и смешит. Обнимет старого слугу Никиту и спросит:

– А помнишь, старина, какой я был маленький? Веселое было тогда время! Помнишь, как важно приходил ты к крестному во флигель звать меня к маменьке? Даже страшно было, когда ты выговаривал: «Иван Александрович, пожалуйте…» – И вдруг в тебя выстрел: «Пошел вон!» Огорчался, я думаю, ты этим, голубчик?

– Да что! – Никита махнул рукой. – Все маменька ваша изволили тогда беспокоиться понапрасну. «Поди, веди его!» А зачем вести? По-моему, Бог создал дитю для того, чтоб он играл и забавлялся, а они запрещают, – ну, разве это возможно? Хоша бы колокольня тогда. Ну, что?.. По-моему: пусть барчоночек полюбуется нашим городком – оттуда все видно. А они свое: «Расшибется!» Я тогда не вытерпел, сказал: «Эх, матушка барыня, Бог-то не в одной церкви живет, он и на колокольне нашего барчоночка спасет!» Так куда… Осерчала даже на мои разумные слова, изволили закричать: «Пошел вон, не рассуждай!» Вот и только.

Иван Александрович не вытерпел, засмеялся:

– А ты хорошо, Никитушка, рассказываешь; поедем со мной в Питер!..

– Ох, Питер, Питер! Нету, батюшка барин! Я, старик, здесь привык, в Питере, чай, больно скучно будет мне?..

– Что ты, голубчик! В Питере скучно? Да там сроду никто не скучал, все весело живут: Петербург на веселом месте стоит!

– А коли так, я, пожалуй, и в Питер поеду. Для вашей милости, батюшка барин, я теперича не токмо что в Питер – в ад готов сходить!

– Спасибо, друг!

Иван Александрович Никиту поцеловал и болтуна в Петербург взял. Софьюшка сама напросилась в Петербург: «И меня уж возьмите, Иван Александрыч, пожалуйста! Я

большое любопытствие имею поглядеть: какой такой есть на свете Петербург? Ей-богу, страшно хочется, барин!»
С Софьюшкой и Мариной барин забавлялся иначе: то сонных свяжет за ноги сахарной бечевкой, то накинет на себя белую простыню и явится перед ними в темном месте. Старые девы крестятся, визжат со страху, а он хохочет. Трогательны были его беседы со слепой няней. Мне кажется, иногда он слов не находил, как бы нежнее ее назвать. «Голубка моя возлюбленная! Помнишь, какие волшебные сказки ворковала ты мне?..» И он поцелует голубку и погладит по голове. «Хочешь, я золотом засыплю тебя за них?» Старушка обидится и шепчет с укором: «Эх, Ваня, Ваня неразумный! На что мне твои деньги в могилу? Мне всего на свете дороже твоя любовь!» – и разрыдается до истерики. Даже с дворовой мелюзгой он находил удовольствие играть. Подхватит с полу какую-нибудь четырехлетнюю Машутку-соплюшку, усадит на колени, даст играть часы, кошелек, насыплет перед ней кучу конфет, поставит банку варенья и начинает угощать. Машутка ест до того, что начинает пыхтеть и наконец объявляет решительно: «Будет, барин, больше не хочу». – «Еще хоть ложечку! Да кланяйтесь, Гаврила Никитич, хоть вы, – у меня нет жены». Машутка отворачивается от варенья. «Ну, ну, Маша, утешь меня, понатужься еще». – «Мама! Что барин пристает!» – ревет наконец гостья. Барин бросает ложку, вскидывает Машутку на плечо, садит на шею и мчится по всем комнатам. Машутка вместо слез начинает хохотать, а барин очень доволен, что утешил Машутку. В это время он казался мне самым нежным отцом, да, верно, то же он чувствовал и в себе. Но самые веселые игры были с племянниками и племянницами. С теми разыграется, так готов хоть в козны; развозится, так готов кувыркаться и такие веселые и забавные строит им рожи, что дети визжат, хохочут до упаду; смельчаки бросаются на шею, садятся верхом и едут на литераторе. С девочками он обращался нежно: подманит лакомством, расскажет им забавные побасенки, поиграет в куклы и споет какую-нибудь песню. Особенно он любил известную тогда песнь московских цыган и пел мастерски. «Пляши, дядя!» – пищит мелюзга, и дядя пускается в пляс, по-цыгански, так же ловко, мастерски, как настоящий цыган; по всем комнатам раздается визг Ивана Александровича: «Ай, жги, говори!» Иногда на него находило другое настроение: он, как испанец, с гитарой в руках, становился перед гувернанткой в позу гидальго и начинал: «Ты душа ль моя, красна девица! Ты звезда ль моя ненаглядная! Полюби меня, добра молодца!» На слово «звезда», конечно, самая высокая нота, а пение его в это время было так пленительно, голос так очарователен, что романс этот я до сих пор не забыл, а в глазах Варвары Лукиничны сверкали тогда такие огоньки, которых я сроду не видал. Особенно трогательны и задушевны были беседы Ивана Александровича с матерью, когда он напоминал ей свое резвое, шаловливое детство. Сидит грустный, задумчивый и вдруг начнет весело:
– А помнишь, мама, как я выпрыгнул из-под куста и выстрелил в тебя хлопушкой?
– Ох, сорванец! Ты уж лучше не напоминай мне твоих проказ! Я, Ваня, так тогда испугалась, что плакала от истерики.
– Ну, прости, мама! Я теперь за тебя поплачу, хочешь?..
– Ну, ну, полно дурить и рожу строить, – вишь, точно настоящий актер.
Авдотья Матвеевна матерински смеется, глядя на милого актера, который мастерски, по-актерски плачет.
– А помнишь, мама, как ты стащила меня за ухо с дерева, точно птицу за хохол?
– Ну, какая там птица с ушами! Просто нужно было тебя наказать! Помнишь, я думаю, какой ты был тогда маленький клопик, едва по земле ползал, и вдруг увидала тебя на дереве, – у меня сердце замерло от страху!
– Да не вытерпел, мама! Ты теперь представить не можешь, как тогда хотелось мне залезть!
– А, хотелось? Так вот тебе за хотенье и досталось на калачи! Не хоти, когда не велят.

– Теперь разумею, а тогда!..
– А тогда глуп был, вот я тебя и учила.
– Да ведь голову надо было учить, не уши?
– Ну, ты теперь об этом не рассуждай: уши и волосенки на голове растут; за что зацепила, за то и учила.
– Великий вы педагог, мама: по-вашему, значит, с которого конца ни начни науку, все равно?
– Конечно, все равно: был бы только в науке смысл и толк. А за большие твои проказы нужно было тогда хоть разок попробовать тебя посечь. Вот ты б и знал тогда, что такое мать!
– Посечь? Ведь это, я думаю, больно, мама? Посеките теперь, я попробую!.. – Иван Александрович начинает расстегивать жилет.
– Совсем сумасшедший! Да ты оглянись, кто тут сидит!
– Ах, Варвара Лукинична! Простите великодушно; ей-богу, не заметил, что вы здесь!
– Так это и примите за вежливость моего петербургского сына, Варвара Лукинична, – заключила мать. – Однако будет болтать, пойдемте, господа, чай пить.
– А помнишь, мама, как хитро я подкрадывался к сахару? Боже мой! Какой он тогда был сладкий! Ах, прелесть!
– Зато мне, сыночек, было горько! Не знала, как отучить тебя от этой скверной привычки. Ты не только горстями его таскал – полные карманы набивал, а это тебе было вредно.
– Да ведь не умер я тогда от сахару?
– Оттого и не умер, что я стала наконец коробку запирать от тебя на замок.
– Скупая ты была тогда, мама: родному сыну сахару не давала… Это безбожно, наконец!
Иван Александрович устроил такую печальную мину, что мы все невольно улыбнулись. Иногда сама мать любила вспоминать проказы своего бесценного Вани.
– Представьте себе, господа, раз этот сорванец пришел с чердака с такой размазанной сажей рожей, что я не узнала его; да еще крадется, мошенник, в девичью, чтоб там умыли его секретно, а я цап его в коридоре – поймала.
Авдотья Матвеевна нежно погладила сына по голове и поцеловала.
– Эх, мама, мама! Ты теперь представить не можешь, какое забирало меня тогда любопытство! Мне непременно хотелось узнать, видно ли в трубу небо, – вот я и засунул туда голову: видно, мама!
– Да, да! И мне тогда было видно, каким ты пришел чучелом.
Гончаров в такой живой жизни прожил у матери долго, и общество дворян и купцов осаждало его день и ночь, точно они хотели видеть невиданного страуса или белого слона.
– Что это такое? – говорил литератор тоскливо. – Они не дают мне с Машуткой играть. Уедемте, мама, лучше в наш сад под гору, там и будем жить, как в скиту; туда не все доберутся. А здесь ты, Никитушка, сделай вот что: запирай с утра парадную дверь на крючок и без дозволения и доклада мне отвечай им в щелочку: «Дома нет». Кого нужно мне, я скажу.
Проводы Гончарова были торжественны, как самого почетного и знатного лица в городе [75]. Много колясок и карет, конечно, и с дамами, провожали его до Кандарати, где он оставил загадочный стишок: «Ах, Кандарать, Кандарать, хорошо здесь ночевать!» – и что-то шепнул другу по секрету; тот ответил серьезно: «Счастливец ты во всем и ночью и днем». Трогательны были проводы матери с сыном-любимцем. После напутственного молебна старушка чуть не упала в обморок, обнимая бесценного Ваню, – точно она предчувствовала, что расстается с ним надолго-надолго… В последний раз он был на родине в то время, как серьезно задумал писать свой последний роман «Обрыв» [76]. Лето он жил с шурином Музалевским на даче, в имении помещика Киндякова, в

деревне Винновке или Киндяковке. Там же он нашел для главной героини романа Веры – обрыв.
<…>
Я поступил на службу, уехал из Симбирска, но связи с милым домом Гончаровых не прерывал. Жаль только, что, посещая брата, я об Иване Александровиче ничего не мог узнать. От брата постоянно я слышал один ответ: «Писем от него нет. В Петербурге служит, редко пишет: верно, потому, что некогда ему».

Примечания

63
Текст статьи печатается по изданию: И. А. Гончаров в русской критике: Сборник статей. М.: Худож. лит., 1958. (Статья печатается в сокращении.)

64
Потанин Гавриил Никитич (1823–1910) – писатель, уроженец и житель Симбирска. В 1840-х годах был домашним учителем детей сестры И. А. Гончарова А. А. Кирмаловой, затем преподавал в Самарском уездном училище.
Воспоминания Г. Н. Потанина являются единственными, относящимися к симбирскому периоду жизни И. А. Гончарова и к пребыванию его на родине летом 1849 года.
В воспоминаниях Г. Н. Потанина есть неточности и фактические ошибки.

65
Текст воспоминаний печатается по изданию: И. А. Гончаров в воспоминаниях современников. Л.: Худож. лит., 1969. (Воспоминания печатаются в сокращении.)

66
Иван Александрович был младшим сыном, старшим был Николай Александрович.

67
Отец Гончарова умер в 1819 году, когда И. А. Гончарову было не три года, а семь лет.

68
Потанин цитирует воспоминания И. А. Гончарова «На родине».

69
Гончаров учился в частном пансионе священника Ф. С. Троицкого, расположенном в заволжском селе Репьевка, в имении княгини Е. П. Хованской.

70
Священника Троицкого звали Федор Степанович.

71
И. А. Гончаров был определен в Московское коммерческое училище вместе с братом 8 июля 1822 года и, не закончив курса, уволен из третьего возраста по прошению матери, ссылавшейся на «трудную болезнь» брата и «расстройство коммерческих дел».

72
Служебная деятельность Гончарова продолжалась не «пять лет», а тридцать, с 1835 по 1867 год, с небольшим перерывом в 1860–1862 годах.

73
Инициатива издания рукописного журнала «Подснежник» принадлежала Владимиру Андреевичу Солоницыну, а не племяннику его («молодому») Владимиру Аполлоновичу Солоницыну.

74
Автор воспоминаний, будучи гимназистом, содержал себя исключительно уроками, за которые тогда платили крайне мало, – например, богатые купцы за урок давали 10 коп. ассигнациями, что составляло 3 коп. серебром. (Примеч. автора.)

75
И. А. Гончаров выехал из Симбирска в начале октября 1849 года.

76
Второе, и последнее, пребывание И. А. Гончарова в Симбирске относится к периоду с 16 мая по 11 июля 1862 года.